

*Моей жене, которая была права*

В двенадцать подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади. Девушка-экскурсовод сменила возвышенный тон на более земной:

— Там налево есть одно местечко...

Мой сосед заинтересованно приподнялся:

— В смысле — уборная?

Всю дорогу он изводил меня: «Отбеливающее средство из шести букв?.. Вымирающее парнокопытное?.. Австрийский горнолыжник?..»

Туристы вышли на залитую светом площадь. Водитель захлопнул дверцу и присел на корточки у радиатора.

Вокзал... Грязноватое желтое здание с колоннами, часы, обесцвеченные солнцем дрожащие неоновые буквы...

Я пересек вестибюль с газетным киоском и массивными цементными урнами. Интуитивно выявил буфет.

— Через официанта, — вяло произнесла буфетчица. Наполовой груди ее болтался штопор.

Я сел у двери. Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами.

— Что вам угодно?

— Мне угодно, — говорю, — чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны.

Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал.

— Мне угодно сто граммов водки, пиво и два бутерброда.

— С чем?

— С колбасой, наверное...

Я достал папиросы, закурил. Безобразно дрожали руки. «Стакан бы не выронить...» А тут еще рядом уселись две интеллигентные старухи. Вроде бы из нашего автобуса.

Официант принес графинчик, бутылку и две конфеты.

— Бутерброды кончились, — проговорил он с фальшивым трагизмом.

Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, как у эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попытался улыбнуться:

— Взгляните на меня с любовью!

Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия.

Черт с ними, думаю. Обхватил стакан двумя руками, выпил. Потом с шуршанием развернул конфету.

Стало немного легче. Зарождался обманчивый душевный подъем. Я сунул бутылку пива в карман. Затем поднялся, чуть не опрокинув стул. Вернее, дюралевое кресло. Старухи продолжали испуганно меня разглядывать.

Я вышел на площадь. Ограда сквера была завешена покоробившимися фанерными щитами. Диаграммы сушили в недалеком будущем горы мяса, шерсти, яиц и прочих интимностей.

Мужчины курили возле автобуса. Женщины шумно рассаживались. Девушка-экскурсовод ела мороженое в тени. Я шагнул к ней:

— Давайте познакомимся.

— Аврора, — сказала она, протягивая липкую руку.

— А я, — говорю, — танкер Дербент.

Девушка не обиделась.

— Над моим именем все смеются. Я привыкла... Что с вами? Вы красный!

— Уверяю вас, это только снаружи. Внутри я — конституционный демократ.

— Нет, правда, вам худо?

— Пью много... Хотите пива?

— Зачем вы пьете? — спросила она.

Что я мог ответить?

— Это секрет, — говорю, — маленькая тайна...

— Решили поработать в заповеднике?

— Вот именно.

— Я сразу поняла.

— Разве я похож на филолога?

— Вас провожал Митрофанов. Чрезвычайно эрудированный пушкинист. Вы хорошо его знаете?

— Хорошо, — говорю, — с плохой стороны...

— Как это?

— Не придавайте значения.

— Прочтите Гордина, Щеголева, Цявловскую... Воспоминания Керн... И какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя.

— Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить... читать.

— С вами невозможно разговаривать...

Шофер поглядел в нашу сторону. Экскурсанты расселись.

Аврора доела мороженое, вытерла пальцы.

— Летом, — сказала она, — в заповеднике довольно хорошо платят. Митрофанов зарабатывает около двухсот рублей.

— И это на двести рублей больше, чем он стоит.

— А вы еще и злой!

— Будешь злым, — говорю.

Шофер просигналил дважды.

— Едем, — сказала Аврора.

В львовском автобусе было тесно. Коленкоровые сиденья накалились. Желтые занавески усиливали ощущение духоты.

Я перелистывал «Дневники» Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые. Но кто поверит, что его знакомый — гений?!

Я задремал. Невнятно доносились какие-то лишние сведения о матери Рылеева...

Разбудили меня уже во Пскове. Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет.

В одном из флигелей находилось местное бюро путешествий. Аврора заверила какие-то бумаги, и нас повезли в «Геру» — самый фешенебельный местный ресторан.

Я колебался — добавлять или не добавлять? Добавишь — завтра будет совсем плохо. Есть не хотелось...

Я вышел на бульвар. Тяжело и низко шумели липы.

Я давно убедился: стоит задуматься, и тотчас вспоминаешь что-нибудь грустное. Например, последний разговор с женой...

— Даже твоя любовь к словам, безумная, нездоровая, патологическая любовь, — фальшива. Это — лишь попытка оправдания жизни, которую ты ведешь. А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок... С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем...

— Ты действительно считаешь его хорошим писателем? Может быть, и Джек Лондон хороший писатель?

— Боже мой! При чем тут Джек Лондон?! У меня единственные сапоги в ломбарде... Я все могу простить. И бедность меня не пугает... Все, кроме предательства!

— Что ты имеешь в виду?

— Твое вечное пьянство. Твое... даже не хочу говорить... Нельзя быть художником за счет другого человека... Это подло! Ты столько говоришь о благородстве! А сам — холодный, жестокий, изворотливый человек...

— Не забывай, что я двадцать лет пишу рассказы.

— Ты хочешь написать великую книгу? Это удастся одному из сотни миллионов!

— Ну и что? В духовном отношении такая неудавшаяся попытка равна самой великой книге. Если хочешь, нравственно она даже выше. Поскольку исключает вознаграждение...

— Это слова. Бесконечные красивые слова... Надоело... У меня есть ребенок, за которого я отвечаю...

— У меня тоже есть ребенок.

— Которого ты месяцами игнорируешь. Мы для тебя — чужие...

(В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса...)

— Умышленно, — говорю, — я зла не делал...

Я опустился на пологую скамейку. Вынул ручку и блокнот. Через минуту записал:

Любимая, я в Пушкинских Горах,  
Здесь без тебя — уныние и скука,  
Брожу по заповеднику, как сука.  
И душу мне терзает жуткий страх...

И так далее.

Мои стихи несколько опережали действительность. До Пушкинских Гор оставалось километров сто.

Я зашел в хозяйственную лавку. Приобрел конверт с изображением Магеллана. Спросил зачем-то:

— Вы не знаете, при чем тут Магеллан?

Продавец задумчиво ответил:

— Может, умер... Или героя дали...

Наклеил марку, запечатал, опустил...

В шесть мы подъехали к зданию туристской базы. До этого были холмы, река, просторный горизонт с неровной кромкой леса. В общем, русский пейзаж без излишеств. Те обыденные его приметы, которые вызывают необъяснимо горькое чувство.

Это чувство всегда казалось мне подозрительным. Вообще страсть к неодушевленным предметам раздражает меня... (Я мысленно раскрыл записную книжку.) Есть что-то ущербное в нумизматах, филателистах, заядлых путешественниках, любителях кактусов и аквариумных рыб. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака, безрезультатная немотивированная храбрость альпиниста, горделивая уверенность владельца королевского пуделя...

Говорят, евреи равнодушны к природе. Так звучит один из упреков в адрес еврейской нации. Своей, мол, природы у евреев нет, а к чужой они равнодушны. Что ж, может быть, и так. Очевидно, во мне сказывается примесь еврейской крови...

Короче, не люблю я восторженных созерцателей. И не очень доверяю их восторгам. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма...

Я согласен, больную, парализованную мать острее жалеешь и любишь. Однако любоваться ее страданиями, выражать их эстетически — низость...

Ладно...

Подъехали к туристской базе. Какой-то идиот построил ее на расстоянии четырех километров от ближайшего водоема. Пруды, озера, речка знаменитая, а база — на солнцепеке. Правда, есть номера с душевыми кабинами... Изредка — горячая вода...

Заходим в экскурсионное бюро. Сидит такая дама, мечта отставника. Аврора сунула ей путевой лист. Расписалась, получила обеденные талоны для группы. Что-то шепнула этой пышной блондинке, которая сразу же взглянула на меня. Взгляд содержал неуступчивый беглый интерес, деловую озабоченность и легкую тревогу. Она даже как-то выпрямилась. Резче зашуршали бумаги.

— Вы не знакомы? — спросила Аврора.

Я подошел ближе.

— Хочу поработать в заповеднике.

— Люди нужны, — сказала блондинка.

В конце этой реплики заметно ощущалось многоточие. То есть нужны именно хорошие, квалифицированные специалисты. А случайные, мол, люди — не требуются...

— Экспозицию знаете? — спросила блондинка и неожиданно представилась: — Галина Александровна.

— Я был здесь раза три.

— Этого мало.

— Согласен. Вот и приехал снова...

— Нужно как следует подготовиться. Простудировать методичку. В жизни Пушкина еще так много неисследованного... Кое-что изменилось с прошлого года...

— В жизни Пушкина? — удивился я.

— Извините, — перебила Аврора, — меня туристы ждут. Желаю удачи...

Она исчезла — юная, живая, полноценная. Завтра я услышу в одной из комнат музея ее чистый девичий голос:

«...Вдумайтесь, товарищи!.. „Я вас любил так искренне, так нежно...“ Миру крепостнических отношений противопоставил Александр Сергеевич этот вдохновенный гимн бескорыстия...»

— Не в жизни Пушкина, — раздраженно сказала блондинка, — а в экспозиции музея. Например, сняли портрет Ганнибала.

— Почему?

— Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли, не соответствуют. Якобы это генерал Закомельский.

— Кто же это на самом деле?

— И на самом деле — Закомельский.

— Почему же он такой черный?

— С азиатами воевал, на юге. Там жара. Вот он и загорел. Да и краски темнеют от времени.

— Значит, правильно, что сняли?

— Да какая разница — Ганнибал, Закомельский... Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. На фига им Закомельский?! Вот наш директор и повесил Ганнибала... Точнее, Закомельского под видом Ганнибала. А какому-то деятелю не понравилось... Простите, вы женаты?

Галина Александровна произнесла эту фразу внезапно и, я бы сказал, — застенчиво.

— Разведен, — говорю, — а что?

— Наши девушки интересуются.

— Какие девушки?

— Их сейчас нет. Бухгалтер, методист, экскурсоводы...

— Почему же они мной интересуются?

— Они не вами. Они всеми интересуются. У нас тут много одиноких. Парни разъехались... Кого наши девушки видят? Туристов? А что туристы? Хорошо, если у них восьмидневка. Из Ленинграда так на сутки приезжают. Или на трое... А вы надолго?

— До осени. Если все будет хорошо.

— Где вы остановились? Хотите, я позвоню в гостиницу? У нас их две, хорошая и плохая. Вы какую предпочитаете?

— Тут, — говорю, — надо подумать.

— Хорошая — дороже, — объяснила Галия.

— Ладно, — сказал я, — денег все равно нет...

Она сразу же куда-то позвонила. Долго кого-то уговаривала. Наконец вопрос был решен. Где-то записали мою фамилию.

— Я вас провожу.

Давно я не был объектом такой интенсивной женской заботы. В дальнейшем она будет проявляться еще настойчивее. И даже перерастет в нажим.



Вначале я относил это за счет моей потускневшей индивидуальности. Затем убедился, насколько огромен дефицит мужского пола в этих краях. Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен назойливыми румяными поклонницами.

— Умираю, пива! — вяло говорил он.

И девушки бежали за пивом...

Галя заперла дверь экскурсионного бюро. Мы направились через лес в сторону поселка.

— Вы любите Пушкина? — неожиданно спросила она.

Что-то во мне дрогнуло, но я ответил:

— Люблю... «Медного всадника», прозу...

— А стихи?

— Поздние стихи очень люблю.

— А ранние?

— Ранние тоже люблю, — сдался я.

— Тут все живет и дышит Пушкиным, — сказала Галя, — буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота... Цилиндр, крылатка, знакомый профиль...

Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач.

— Борька, хрен моржовый, — дико заорал он, — ты ли это?!

Я отозвался с неожиданным радушием. Еще один подонок застал меня врасплох. Вечно не успеваю сосредоточиться...

— Я знал, что ты приедешь, — не унимался Гурьянов...

Впоследствии мне рассказали такую историю. Была тут в начале сезона пьянка. Чья-то свадьба или день рождения. Присутствовал местный сотрудник госбезопасности. Заговорили обо мне. Кто-то из общих знакомых сказал:

— Он в Таллине.

Ему возразили:

— Нет, уже год, как в Ленинграде.

— А я слышал, что в Риге у Красильникова...

Следовали новые и новые версии.

Чекист сосредоточенно поедал тушеную утку. Затем приподнял голову и коротко высказался:

— Есть данные — собирается в Пушкинские Горы...

— Меня ждут, — сказал Гурьянов, как будто я его удерживал.

Он посмотрел на Галю:

— А ты похорошела. Никак зубы вставила?

Карманы его тяжело оттопыривались.

— Вот засранец! — неожиданно произнесла Галина. И через минуту: — Как хорошо, что Пушкин этого не видит.

— Да, — сказал я, — это неплохо.

Первый этаж гостиницы «Дружба» занимали три учреждения. Гастроном, парикмахерская и ресторан «Лукоморье». Надо бы, думаю, Галину пригласить за все ее услуги. Денег я захватил ничтожно мало. Один размашистый жест грозил катастрофой.

Я промолчал.

Мы подошли к барьеру, за которым сидела женщина-администратор. Галя меня представила. Женщина протянула увесистый ключ с номером 231.

— А завтра подыщите комнату, — сказала Галина, — можно в поселке... Можно на Ворониче, только это дорого... Можно в одной из ближайших деревень: Савкино, Гайки...

— Спасибо, — говорю, — выручили.

— Ну, я пошла.

Фраза оканчивалась едва уловимым вопросительным знаком: «Ну, я пошла?..»

— Проводить вас?

— Я живу в микрорайоне, — таинственно реагировала девушка.

Затем — отчетливо и внятно, чересчур отчетливо и внятно:

— Провожать не обязательно... И не думайте, что я такая...

Она удалилась, гордо кивнув администратору.

Я поднялся на второй этаж и отпер дверь. Кровать была аккуратно застелена. Репродуктор издавал прерывистые звуки. На перекладине распахнутого стенового шкафа болтались вешалки.

В этой комнате, в этой узенькой лодке, я отплывал к неведомым берегам самостоятельной холостяцкой жизни.

Я принял душ, смывая щекотливый осадок Галиных хлопот, налет автобусной влажной тесноты, коросту многодневного застолья.

Настроение заметно улучшилось. Холодный душ подействовал как резкий окрик.

Я вытерся, натянул гимнастические брюки и закурил.

В коридоре раздавался стук шагов. Где-то звучала музыка. Под окнами шумели грузовики и бесчисленные мопеды.

Я улегся поверх одеяла, раскрыл серый томик Виктора Лихоносова. Решил наконец выяснить, что это за деревенская проза? Обзавестись своего рода путеводителем...

Читая, я незаметно уснул. Проснулся в два ночи. Предутренний летний сумрак заливал комнату. Уже можно было сосчитать листья фикуса на окне.

Я решил спокойно все обдумать. Попытаться рассеять ощущение катастрофы, тупика.

Жизнь расстилась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре. Следовало разбить это поле на участки и браться за дело. Разорвать цепь драматических обстоятельств. Проанализировать ощущение краха. Изучить каждый фактор в отдельности.

Человек двадцать лет пишет рассказы. Убежден, что с некоторыми основаниями взялся за перо. Люди, которым он доверяет, готовы это засвидетельствовать.

Тебя не публикуют, не издают. Не принимают в свою компанию. В свою бандитскую шайку. Но разве об этом ты мечтал, бормоча первые строчки?

Ты добиваешься справедливости? Успокойся, этот фрукт здесь не растет. Несколько сияющих истин должны были изменить мир к лучшему, а что произошло в действительности?..

У тебя есть десяток читателей. Дай бог, чтобы их стало еще меньше...

Тебе не платят — вот что скверно. Деньги — это свобода, странство, капризы... Имея деньги, так легко переносить нищету...

Учись зарабатывать их, не лицемера. Иди работать грузчиком, пиши ночами. Мандельштам говорил, люди сохранят все, что им нужно. Вот и пиши...

У тебя есть к этому способности — могло и не быть. Пиши, создай шедевр. Вызови душевное потрясение у читателя. У одного-единственного живого человека... Задача на всю жизнь.

А если не получится? Что ж, ты сам говорил, в моральном отношении неудавшаяся попытка еще благороднее. Хотя бы потому, что не вознаграждается...

Пиши, раз уж взялся, тащи этот груз. Чем он весомее, тем легче...

Тебя угнетают долги? У кого их не было?! Не огорчайся. Ведь это единственное, что по-настоящему связывает тебя с людьми...

Оглядываясь, ты видишь руины? Этого можно было ожидать. Кто живет в мире слов, тот не ладит с вещами.

Ты завидуешь любому, кто называет себя писателем. Кто может, вытащив удостоверение, документально это засвидетельствовать.

Но что же пишут твои современники? У писателя Волина ты обнаружил:

«...Мне стало предельно ясно...»

И на той же странице:

«...С беспредельной ясностью Ким ощутил...»

Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова громоздились неосязаемые, как тень от пустой бутылки...

Ах, не о том, не о том зашла речь!.. Как надоели вечные твои уловки!..

Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело — слово. А всякое Дело с заглавной буквы тебе ненавистно. Вокруг него — зона мертвого пространства. Там гибнет все, что мешает делу. Там гибнут надежды, иллюзии, воспоминания. Там царит убогий, непререкаемый, однозначный материализм...

И снова — не то, не то...

Во что ты превратил свою жену? Она была простодушной, кокетливой, любила веселиться. Ты сделал ее ревливой, подо-

зрительной и нервной. Ее неизменная фраза: «Что ты хочешь этим сказать?» — памятник твоей изворотливости...

Твои безобразия достигали курьезов. Помнишь, как ты вернулся около четырех ночи и стал расшнуровывать ботинки. Жена проснулась и застонала:

— Господи, куда в такую рань?!

— Действительно, рановато, рановато, — пробормотал ты.

А потом быстро разделся и лег...

Да что тут говорить...

Утро. Шаги, заглушаемые алой ковровой дорожкой. Внезапное прерывистое бормотание репродуктора. Плеск воды за стеной. Грузовики под окнами. Неожиданный отдаленный крик пестуха...

В детстве лето было озвучено гудками паровозов. Пригородные дачи... Запах вокзальной гари и нагретого песка... Настольный теннис под ветками... Тугой и звонкий стук мяча... Танцы на веранде (старший брат доверил тебе заводить патефон)... Глеб Романов... Ружена Сикора... «Эта песня за два сольди, за два гроша...», «Я тобою в Бухаресте грезил наяву...».

Выжженный солнцем пляж... Жесткая осока... Длинные трусы и следы резинок на икрах... Набившийся в сандалии песок...

В дверь постучали:

— К телефону!

— Это недоразумение, — говорю.

— Вы — Алиханов?

Меня проводили в комнату сестры-хозяйки. Я взял трубку.

— Вы спали? — поинтересовалась Галина.

Я горячо возразил.

Я давно заметил, что на этот вопрос люди реагируют с излишней горячностью. Задайте человеку вопрос: «Бывают ли у тебя запои?» — и человек спокойно ответит — нет. А может быть, охотно согласится. Зато вопрос «Ты спал?» большинство переживает чуть ли не как оскорбление. Как попытку уличить человека в злодействе...

— Я договорилась насчет комнаты.

— Вот спасибо.

— В деревне Сосново. Пять минут от турбазы. Отдельный вход.

— Это главное.

— Хозяин, правда, выпивает...

— Еще один козырь.

— Запомните фамилию — Сорокин. Михаил Иванович... Пойдете через турбазу вдоль оврага. С горы уже деревню видно. Четвертый дом... А может, пятый. Да вы найдете. Там свалка рядом...

— Спасибо, милая.

Тон резко изменился:

— Какая я вам милая?! Ох, умираю... Милая... Скажите пожалуйста... Милую нашел...

В дальнейшем я не раз изумлялся этим мгновенным Галиным преобразованиям. Живое участие, радушие и простота сменялись крикливыми интонациями оскорбленного целомудрия. Нормальная речь — визгливым провинциальным говором...

— И не подумайте чего-нибудь такого!

— Такого — никогда. И еще раз — спасибо...

Я отправился на турбазу. На этот раз здесь былолюдно. Вокруг стояли разноцветные автомашины. Группами и поодиночке бродили туристы в курортных шапочках. У газетного киоска выстроилась очередь. Из распахнутых окон столовой доносился звон посуды и визг металлических табуреток. Здесь же резвилось несколько упитанных дворняг.

На каждом шагу я видел изображения Пупкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью «Огнеопасно!». Сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно. Я давно заметил: у наших художников имеются любимые объекты, где нет предела размаху и вдохновению. Это в первую очередь — борода Карла Маркса и лоб Ильича...

Репродуктор был включен на полную мощность:

— Внимание! Говорит радиоузел пушкиногорской туристской базы. Объявляем порядок дня на сегодня...

Я зашел в экскурсионное бюро. Галину осаждали туристы. Она махнула рукой, чтобы я подождал.

Я взял с полки брошюру «Жемчужина Крыма». Достал сигареты.

Экскурсоводы, получив какие-то бумаги, удалялись. За ними к автобусам бежали туристы. Несколько «диких» семейств жаждало присоединиться к группам. Ими занималась высокая худенькая девушка.

Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе:

— Извините, могу я задать вопрос?

— Слушаю вас.

— Это дали?

— То есть?

— Я спрашиваю, это дали? — Тиролец увлек меня к распахнутому окну.

— В каком смысле?

— В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите.

— Не понимаю.

Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять:

— У меня была открытка... Я — филокартист...

— Кто?

— Филокартист. Собираю открытки... Филос — любовь, картос...

— Ясно.

— У меня есть цветная открытка — «Псковские дали». И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить — это дали?

— В общем-то, дали, — говорю.

— Типично псковские?

— Не без этого.

Мужчина, сияя, отошел...

Миновал час пик. Бюро опустело.

— С каждым летом наплыв туристов увеличивается, — пояснила Галина.

И затем, немного возвысив голос:

— Исполнилось пророчество: «Не зарастет священная тропа!..»<sup>1</sup>

Не зарастет, думаю. Где уж ей, бедной, зарости. Ее давно вытоптали эскадроны туристов...

— По утрам здесь жуткий бардак, — сказала Галина.

---

<sup>1</sup> Искаженная цитата. У Пушкина — «народная тропа». (Пр. Ред.)

Я снова подивился неожиданному разнообразию ее лексики.

Галя познакомила меня с инструктором бюро — Людмилой. Ее гладкими ножками я буду тайно любоваться до конца сезона. Люда вела себя ровно и приветливо. Это объяснялось наличием жениха. Ее не уродовала постоянная готовность к возмущенному отпору. Пока что жених находился в тюрьме...

Затем появилась некрасивая женщина лет тридцати — методист. Звали ее Марианна Петровна. У Марианны было запущенное лицо без дефектов и неуловимо плохая фигура.

Я объяснил цель моего приезда. Скептически улыбаясь, она пригласила меня в отдельный кабинет.

— Вы любите Пушкина?

Я испытал глухое раздражение.

— Люблю.

Так, думаю, и разлюбить недолго.

— А можно спросить — за что?

Я поймал на себе иронический взгляд. Очевидно, любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой. А вдруг, мол, я — фальшивомонетчик...

— То есть как? — спрашиваю.

— За что вы любите Пушкина?

— Давайте, — не выдержал я, — прекратим этот idiotский экзамен. Я окончил среднюю школу. Потом — университет. (Тут я немного преувеличил. Меня выгнали с третьего курса.) Кое-что прочел. В общем, разбираюсь... Да и претендую всего лишь на роль экскурсовода...

К счастью, мой резкий тон остался незамеченным. Как я позднее убедился, элементарная грубость здесь сходила легче, чем воображаемый апломб...

— И все-таки? — Марианна ждала ответа. Причем того ответа, который ей был заранее известен.

— Ладно, — говорю, — попробую... Что ж, слушайте. Пушкин — наш запоздалый Ренессанс. Как для Веймара — Гёте. Они приняли на себя то, что Запад усвоил в XV–XVII веках. Пушкин нашел выражение социальных мотивов в характерной для Ренессанса форме трагедии. Он и Гёте жили как бы в нескольких эпохах. «Вертер» — дань сентиментализму. «Кавказский плен-



ник» — типично байроническая вещь. Но «Фауст», допустим, это уже елизаветинцы. А «Маленькие трагедии» естественно продолжают один из жанров Ренессанса. Такова же и лирика Пушкина. И если она горька, то не в духе Байрона, а в духе, мне кажется, шекспировских сонетов... Доступно излагаю?

— При чем тут Гёте? — спросила Марианна. — И при чем тут Ренессанс?

— Ни при чем! — окончательно взбесился я. — Гёте совершенно ни при чем! А Ренессансом звали лошадь Дон Кихота. Который тоже ни при чем! И я тут, очевидно, ни при чем!..

— Успокойтесь, — прошептала Марианна, — какой вы нервный... Я только спросила: «За что вы любите Пушкина?..»

— Любить публично — скотство! — заорал я. — Есть особый термин в сексопатологии...

Дрожащей рукой она протянула мне стакан воды. Я отодвинул его.

— Вы-то сами любили кого-нибудь? Когда-нибудь?!

Не стоило этого говорить. Сейчас она зарыдает и крикнет:

«Мне тридцать четыре года, и я — одинокая девушка!..»

— Пушкин — наша гордость! — выговорила она. — Это не только великий поэт, но и великий гражданин...

По-видимому, это и был заведомо готовый ответ на ее дурацкий вопрос.

Только и всего, думаю?

— Ознакомьтесь с методичкой. А вот — список книг. Они имеются в читальном зале. И доложите Галине Александровне, что собеседование прошло успешно...

Мне стало неловко.

— Спасибо, — говорю, — простите, что был невосдержан.

Я свернул методичку и положил в карман.

— Аккуратнее, у нас всего три экземпляра.

Я вытащил методичку и попытался ее разглядеть.

— И еще, — Марианна понизила голос, — вы спросили о любви...

— Это вы спросили о любви.

— Нет, это вы спросили о любви... Насколько я понимаю, вас интересует, замужем ли я? Так вот, я — замужем!

— Вы лишили меня последней надежды, — сказал я, уходя.

В коридоре Галина познакомила меня с экскурсоводом Натэллой. Снова — неожиданная вспышка заинтересованности:

— Будете у нас работать?

— Попытаюсь.

— Сигареты у вас есть?

Мы вышли на крыльцо.

Натэлла приехала из Москвы, движимая романтическими, вернее — авантюрными целями. По образованию — инженер-физик, работает школьной учительницей. Решила провести здесь трехмесячный отпуск. Жалеет, что приехала. В заповеднике — толчея. Экскурсоводы и методисты — психи. Туристы — свиньи и невежды. Все обожают Пушкина. И свою любовь к Пушкину. И любовь к своей любви. Единственный порядочный человек — Марков...

— Кто такой Марков?

— Фотограф. Законченный пропойца. Я вас познакомлю. Он научил меня пить «Агдам». Это нечто фантастическое! Он и вас научит...

— Премного благодарен. Но боюсь, что в этом деле я и сам — профессор.

— Давайте как-нибудь поддадим! Прямо на лоне...

— Условились.

— А вы человек опасный.

— То есть?

— Я это сразу почувствовала. Вы жутко опасный человек.

— В нетрезвом состоянии?

— Я говорю не о том.

— Не понял.

— Полюбить такого, как вы, — опасно.

И Натэлла почти болезненно толкнула меня коленом...

Господи, думаю, здесь все ненормальные. Даже те, которые считают ненормальными всех остальных...

— Выпейте «Агдама», — говорю, — и успокойтесь. Я хочу отдохнуть и поработать. Опасности для вас не представляю...

— Это мы еще посмотрим, — истерически расхохоталась Натэлла.

Затем она кокетливо взмахнула холщовым мешком с избранием Джеймса Бонда и удалилась.

Я направился в Сосново. Дорога тянулась к вершине холма, огибая унылое поле. По краям его бесформенными грудями темнели валуны. Слева зиял поросший кустами овраг. Спускаясь под гору, я увидел несколько изб, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими физиономиями вяло щипали траву. Над крышами летали галки.

Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашенные серые дома выглядели убого. Колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами. В накрытых полиэтиленом загонах суетились цыплята. Нервной мультипликационной походкой выступали куры. Звонко тявкали лохматые приземистые собаки.

Я пересек деревню, вернулся. Помедлил возле одного из домов. Хлопнула дверь, и на крыльце появился мужчина в застиранной железнодорожной гимнастерке.

Я поинтересовался, как найти Сорокина.

— Толик меня зовут, — сказал он.

Я представился и еще раз объяснил, что мне нужен Сорокин.

— А где он живет? — спросил Толик.

— В деревне Сосново.

— Так это Сосново и есть.

— Я знаю. Как же мне его найти?

— Тимоху, что ли, Сорокина?

— Его зовут Михал Иванович.

— Тимоха помер год назад. Замерз поддавши...

— Мне бы Сорокина разыскать.

— Видно, мало поддал. А то бы выжил...

— Мне бы Сорокина...

— Не Мишку случайно?

— Его зовут Михал Иванович.

— Так это Мишка и есть. Долихи зять. Знаете Долиху, криво повязанную?

— Я приезжий.

— Не с Опочки?

- Из Ленинграда.
- А, знаю, слышал...
- Так как бы Михал Иваныча разыскать?
- Мишку-то?
- Вот именно.

Толик откровенно и деловито помочился с крыльца. Затем приоткрыл дверь и скомандовал:

— Але! Раздолбай Иваныч! К тебе пришли.

И, подмигнув, добавил:

— С милиции, за алиментами...

Тотчас высунулась багровая рожа, щедро украшенная синими глазами:

— Это... Кому?.. Вы насчет ружья?

— Мне говорили, у вас сдается комната.

На лице Михал Иваныча выразилось сильнейшее замешательство. Впоследствии я убедился, что это — его обычная реакция на любое, самое безобидное заявление.

— Комнату?.. Это... Зачем?

— Я работаю в заповеднике. Хочу снять комнату. Временно. До осени. Есть у вас лишняя комната?

— Дом-то маткин. На мать записан. А матка во Пскове. У ей ноги распухши...

— То есть вы комнату не сдаете?

— Прошлый год евреи жили. Худо не скажу, люди культурные... Ни тебе политуры, ни одеколону... А только — белое, красное и пиво... Лично я евреев уважаю.

— Они Христа распяли, — вмешался Толик.

— Так это когда было! — закричал Михал Иваныч. — Это еще до революции было...

— Комнату, — говорю, — сдаете или нет?

— Проводи человека, — распорядился Толик, застегивая ширинку.

Мы шли втроем по деревенской улице. У изгороди стояла тетка в мужском пиджаке с орденом Красной Звезды на лацкане.

— Зин, одолжи пятерочку! — выкрикнул Михал Иваныч.

Тетка отмахнулась:

— Угоришь с вина... Слышал, постановление вышло? Всех алкашей повесить на тросу!..

— Куда?! — расхохотался Михал Иваныч. — Железа не хватит. Всей нашей металлургии придет хана...

Потом добавил:

— Вот курва старая. Ты у меня еще дров попросишь... Я в лесничестве работаю — дружбист!

— Кто? — не понял я.

— Бензопила у меня... «Дружба»... Хуяк — и червонец в кармане.

— Дружбист, — ворчала тетка, — с винищем дружишь... До смерти не опейся...

— Трудно, — как будто даже посетовал Михал Иваныч.

Это был широкоплечий, статный человек. Даже рваная, грязная одежда не могла его по-настоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий, четкий шаг... Я невольно им любовался...

Дом Михал Иваныча производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные темные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла — заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля.

В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с черными кругами отбитой эмали плавали макароны. Ходики стояли. Утюг, заменявший гирию, касался пола.

Две кошки геральдического вида — угольно-черная и розовато-белая — жеманно фланировали по столу, огибая тарелки. Хозяин шуганул их подвернувшимся валенком. Звякнули осколки. Кошки с безумным ревом перелетели в темный угол.

Соседняя комната выглядела еще безобразнее. Середина потолка угрожающе нависала. Две металлические кровати были завалены тряпьем и смердящими овчинами. Повсюду белели окурки и яичная скорлупа.

Откровенно говоря, я немного растерялся. Сказать бы честно: «Мне это не подходит...» Но очевидно, я все-таки интеллигент. И я произнес нечто лирическое:

— Окна выходят на юг?

— На самый, самый юг, — поддакнул Толик.

За окном я увидел полуразрушенную баню.

— Главное, — сказал я, — вход отдельный.

— Ход отдельный, — согласился Михал Иваныч, — только заколоченный.

— А, — говорю, — жаль.

— Эйн момент, — сказал хозяин, разбежался и вышиб дверь ногой.

— Сколько платить?

— А нисколько.

— То есть как? — спрашиваю.

— А вот так. Неси шесть бутылок отравы, и площадь за тобой.

— Нельзя ли договориться более конкретно? Скажем, двадцать рублей вас устраивает?

Хозяин задумался:

— Это сколько будет?

— Я же говорю — двадцать рублей.

— А если на кир перевести? По рушь четыре?

— Девятнадцать бутылок «Розового крепкого». Пачка «Беломора». Два коробка спичек, — отчеканил Толик.

— И два рубля — подъемных, — уточнил Михал Иваныч.

Я вынул деньги.

— Туалет осмотреть желаете?

— Потом, — говорю. — Значит, условились? Где вы оставляете ключ?

— Нет ключа, — сказал Михал Иваныч, — потерян. Да ты не уходи, мы сбегает.

— У меня дела на турбазе. В следующий раз...

— Как знаешь. Я на турбазу вечером зайду. Надо Лизке поджопник дать.

— Кто это — Лизка? — спрашиваю.

— Баба моя. В смысле — жена. На турбазе сестрой-хозяйкой работает. Мы с ей разошедши.

— Так что же вы, бить ее собираетесь?

— Кому?.. Ее повесить мало, да неохота связываться. Ружье у меня отобрать хотели, вроде я грозился ее застрелить... Я думал, ты насчет ружья...

— Патронов жалко на ее, — вмешался Толик.

— Не говори, — согласился Михал Иванович, — я ведь и руками задушу, если надо... Зимой ее встречаю, то да се, по-хорошему... Кричит: «Ой, Мишенька, не буду, ой, пусти...» Майор Джафаров вызывает и говорит:

«Твоя фамилия?»

А я ему:

«Манда кобыля...»

Пятнадцать суток дали, без курева, без ничего... А нам-то хули?.. Сидеть — не работать... Лизка бумагу прокурору написала, сажайте, мол, а то убьет... Чего ее убивать-то?..

— Визгу не оберешься, — согласился Толик. И добавил: — Ну, пошли! А то закроют сельский маг...

Друзья направились в микрорайон, жизнелюбивые, отталкивающие и воинственные, как сорняки...

А я до закрытия просидел в библиотеке.

На подготовку экскурсии ушло три дня. Галина представила меня двум лучшим, с ее точки зрения, экскурсоводам. Я обошел с ними заповедник, прислушиваясь и кое-что записывая.

Заповедник состоял из трех мемориальных объектов. Дом и усадьба Пушкиных в Михайловском. Тригорское, где жили друзья поэта и где он бывал чуть ли не ежедневно. И наконец, монастырь с фамильным захоронением Пушкиных-Ганнибалов.

Экскурсия в Михайловском состояла из нескольких разделов. История усадьбы. Вторая ссылка поэта. Арина Родионовна. Семейство Пушкиных. Друзья, навестившие поэта в изгнании. Декабрьское выступление. И — кабинет, с беглым обзором творчества Пушкина.

Я разыскал хранительницу музея и представился ей. Виктории Альбертовне можно было дать лет сорок. Длинная юбка с воланами, обесцвеченные локоны, интальо, зонтик — претенциозная картинка Бенуа. Этот стиль вымирающего провинциального дворянства здесь явно и умышленно культивировался. В каждом из местных научных работников заявляла о себе его характерная черточка. Кто-то стягивал на груди фантастических размеров цыганскую шаль. У кого-то болталась за плечами изыс-

## СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПОВЕДНИК .....	5
РЕМЕСЛО. <i>Повесть в двух частях</i>	
Часть первая. Невидимая книга .....	107
Часть вторая. Невидимая газета .....	185
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ	
Часть первая. Соло на ундервуде (Ленинград. 1967–1978) .....	261
Часть вторая. Соло на IBM (Нью-Йорк. 1979–1990) .....	313
РАССКАЗЫ	
Ищу человека .....	371
Юбилейный мальчик .....	388
В гору .....	406
Чья-то смерть .....	437
Лишний .....	458
Дорога в новую квартиру .....	491
Представление .....	506
На что жалуетесь, сержант? .....	532
Голос .....	544
Марш одиноких .....	557
Иностранец .....	574
По прямой .....	580
Дядя Леопольд .....	597
Мой старший брат .....	608
Полковник говорит — люблю .....	626